Владимир МАЯКОВСКИЙ



НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

Издательство
«Детская
литература»






МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
·1989·





Владимир
МАЯКОВСКИЙ



НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84 Р 7
М 39

Составление и примечания
С. А. Коваленко

Статья
А. Метченко

Художник книги *Б. Чупрыгин*

Иллюстрации *Л. Дурасова*

Маяковский В. В.

М 39 Нашему юношеству: Стихи/Сост. и примеч. С. Коваленко; Послесл. А. Метченко; Рис. Л. Дурасова. — М.: Дет. лит., 1989. — 144 с.: ил.

ISBN 5—08—000673—0

В сборник входят избранные стихотворения и отрывки из поэм, написанные поэтом в разные годы после революции и посвященные новому быту, становлению новых отношений в советском обществе, верности революционным традициям.

Комментированное издание.

М $\frac{4803010102-305}{М101(03)-89}$ 371—89 **ББК 84Р7**

ISBN 5—08—000673—0

Стихи о советском паспорте

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.

С почтеньем,
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот



скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
Я достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

1929

Левый марш

(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат на́нятой,
стальной изливаются ле́евой, —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце áло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,

что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.

Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.

Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

О дряни

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,

наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка

верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921

Прозаседавшиеся

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени óна». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:

покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.

До пояса здесь,
а остальное там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

1922

Юбилейное

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.

Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката,—
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо

у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред — мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.
Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.
Например,
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый

в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы[1]
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.

[1] Красные и белые звезды *(англ.)*.

**Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!**
Entre nous...[1]
**чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.**

---
[1] Между нами (*франц.*).

Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нищá.
Между нами
— вот беда —
позатесался Нáдсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши, —

он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни о́тдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой,
однаробразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.

Ну, а что вот Безыменский?!
Так...
ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
— вот так-то, мол,
и так-то...
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и сукна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,

чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается —
с Державиным... —
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему́
при жизни
— думаю —

тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши *кто* родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
— ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

1924

Владикавказ — Тифлис

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубах.
Бродягой, —
один архалух.
Уже
подо мной
такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу.
Было:
с ордой,
загорел и носат,

старее
всего старья,
я влез
веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.
Лезгинщик
и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушóй
отсюда
по самый Батум.
От этих дел
не вспомнят ни зги.
История —
врун даровитый,
бубнит лишь,
что были
царьки да князьки:
Ираклии,
Нины,
Давиды.
Стена —
и то
знакомая что-то.
В тахтах
вот этой вот башни —
я помню:
я вел
Руставели Шóтой
с царицей
с Тамарою
шашни.

А после
катился,
костями хрустя,
чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.
А дальше
я видел —
в пробоину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс...»
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.

Живились
в пажах
князёвы сынки,

а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмурá.

Я вижу
правящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Курá,
французов чмокают в ручку.
Двадцать,
а может,
больше веков

волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.

Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.

Я —
равный товарищ
одной Федерации

грядущего мира Советов.
Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадча́ри.
Я знаю:
глупость — эдемы и рай!
Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб а́эро
в горы взвились.
Как женщина,
мною
лелеема
надежда,
что в хвост
со словом «Тифлис»
вобьем
фабричные клейма.
Грузин я,
но не кинто́ озорной,
острящий
и пьющий после.

Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.
Я чту
поэтов грузинских дар,
но ближе
всех песен в мире,
мне ближе
всех
и зурн,
и гитар
лебедок
и кранов шайри.
Строй
во всю трудовую прыть,
для стройки
не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает —
срыть!
Все равно
не видать
в тумане.

1924

Прощанье

В авто,
последний франк разменяв.
— В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
провожая меня,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сентиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
М о с к в а.

1925

Бродвей

Асфальт — стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки — сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.

В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
немые в звоне.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить: «Мек мóней?»
Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с каплями и́з носу,
сосет
как будто
не грудь, а долла́р —
занят
серьезным
бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
бери собвей,
на небо —
бери элевейтер.
Вагоны
едут
и дымам под рост,

и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гу́дзон.
Тебя ослепило,
ты осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максве́л
гуд
ту ди ласт дроп».
А лапы
как станут
ночь копать,
ну, я доложу вам —
пламечко!
Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за́ день
в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.

Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

6 августа 1925 г., Нью-Йорк

Бруклинский мост

Издай, Кули́дж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего матéрийка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост, —
так я
в вечерней
сереющей мéрещи
вхожу,
смиренный, на Брýклинский мост.
Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках — жерлом
жирафу под рост —

так, пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезаю,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.
Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжко ему
и высóко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении óкон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.
И только
по этому
тихому зуду
поймешь —
поездá
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.

Когда ж,
казалось, с-под речки на́чатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник, —
то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальною милей,
живьем в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет
окончание света —
планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоя́щие
ящеры,

так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Он скажет:
— Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,
пустив
по ветру
индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Мангéтен,
к себе
за губу
притягивать Брýклин?
По проводам
электрической пряди —
я знаю —
эпоха
после пара —
здесь
люди
уже
орали по радио,

здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки
по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам. —
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бру́клинский мост —
да...
Это вещь!

1925

Канцелярские привычки

Я
два месяца
шатался по природе,
чтоб смотреть цветы
и звезд огнишки.
Таковых не видел.
Вся природа вроде
телефонной книжки.
Везде —
у скал,
на массивном грузе
Кавказа
и Крыма скалоликого,
на стенах уборных,
на небе,
на пузе
лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где грóзы
гремят,
грома потрясав, —
везде
отрывки стихов и прозы,

фамилии
и адреса.
«Здесь были Соня и Ваня Хайлов.
Семейство ело и отдыхало».
«Коля и Зина
соединили души».
Стрела
и сердце
в виде груши.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис».
«Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога».
На кипарисе,
стоящем века,
весь алфавит:
а б в г д е ж з к.
А у этого
от лазанья
талант иссяк.
Превыше орлиных зон
просто и мило:
«Исак
Лебензон».
Особенно
людей
винить не будем.
Таким нельзя
без фамилий и дат!
Всю жизнь канцелярствовали,
привыкли люди.
Они
и на скалу
глядят, как на мандат.

Такому,
глядящему
за чаем
с балконца,
как солнце
садится в чаще,
ни восход,
ни закат,
а даже солнце —
входящее
и исходящее.
Эх!
Поставь меня
часок
на место Рыкова,
я б
к весне
декрет железный выковал:
«По фамилиям
на стволах и ска́лах
узнать
подписавшихся малых.
Каждому
в лапки
дать по тряпке.
За спину ведра —
и марш бодро!
Подписавшимся
и Колям
и Зинам
собственные имена
стирать бензином.
А чтоб энергия
не пропадала даром,
кстати и Ай-Петри
почистить скипидаром.

А кто
до дого
к подписям привык,
что снова
к скале полез, —
у этого
навсегда
закрывается лик-
без».
Под декретом подпись
и росчерк броский —
Владимир Маяковский.

1926

Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алупка

Товарищу Нетте — пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это — он.
Я узнаю́ его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
— Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте, —
в бытность человеком
ты пивал чаи
со мною в дипкупе?

Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтеся —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой луница.
Ну и здо́рово!
Залегла,
просторы на́двое порвав.
Будто на́век
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»


НЕТТЕ

и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

15 июля 1926 г., Ялта

Нашему юношеству

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
 и одёжи!
Насилу,
 пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
 И, глуша прощаньем свистка,
рванулся
 курьерский
 с Курского!
Заводы.
 Березы от леса до хат
бегут,
 листками вороча,
и чист,
 как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Из-за горизонтов,
 лесами сломанных,
толпа надвигается
 мазанок.

Цветисты бочка́
из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться —
в ответ
снисходительно цедят смешок
уста
украинца-хлопца.
Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарит
солнце-кухарка.
И поезд
уже
бежит на Ростов,
далёко за дымный Харьков.
Поля —
на мильоны хлебных тонн —
как будто
их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный Дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
началось кавказское —
то го́ловы сахара высят хребты,
то в солнце —
пожарной каскою.
Лечу
ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седи́ны.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,

следят
из седла
осетины.

Верх
гор —
лед,

низ
жар
пьет,
и солнце льет йод.
Тифлисцев
узнаешь и метров зá сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
этакими парижáками.
По-своему
всякий
зубрит азы́,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —
свой язык
и собственная нация.
Однажды,
забросив в гостиницу хлам,

забыл,
где я ночую.

Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:
— Нэ чую. —
Когда ж переходят
к научной теме,

им
рамки русского
ýзки:
с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски.
И я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что —
Бодлер,
Маларме
и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардье
французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!



Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лился,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак,
другим —
сечевик,

а по рожденью
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан.
И ваших
и русопетов.

1927

Хорошо!

Октябрьская поэма

(Главы из поэмы)

6

Дул,
как всегда,
октябрь
ветра́ми,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.
Под мостом
Нева-река.
По Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,

за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший —
«В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..»
Видят
редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.
А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.
Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
матросов,
голи —

дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.
Две тени встало.
Огромных и шатких.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.
Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей, —
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
«В политику...
начали...
ба́ловаться...
Куда
против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б
на штурм».

Но тень
боролась,
спутав лапы, —

и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый —

уходил
от испуга,
от нервá.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
А Кéренский —
спрятался,
попробуй
вымань его!

Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.
И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.

А в Зимнем,
в мягких мебеля́х
с бронзовыми вы́крутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.
Голос — редок.
Шепотом,
знаками.
— Ке́ренский где-то?
— Он?
За казаками. —
И снова молча.
И только
по́д вечер:
— Где Прокопович?
— Нет Прокоповича. —
А из-за Николаевского
чугунного моста́,
как смерть,
глядит
неласковая
Аврорьих
башен
сталь.

И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тёк родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна, —
над Петропавловской
взви́лся
фонарь,
восстанья
условный знак.

— Долой!
        На приступ!
                Вперед!
                        На приступ! —
Ворвáлись.
        На ковры!
                Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
                каждый выступ
брали,
        перешагивая
                через юнкеров.
Как будто
        водою
                комнаты пóлня,
текли,
        сливались
                над каждой потерей,
и схватки
        вспыхивали
                жарче полдня
за каждым диваном,
                у каждой портьеры.
По этой
        анфиладе,
                приветствиями óранной
монархам,
        несущим
                короны-клады, —
бархатными залами,
                раскатистыми коридорами
гремели,
        бились
                сапоги и приклады.
Какой-то
        смущенный
                сукин сын,

а над ним
путиловец —
нежней папаши:
«Ты,
парнишка,
выкладай
ворованные часы —
часы
теперича
наши!»
Топот рос
и тех
тринадцать
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забились
под галстук —
за что им приняться? —
Как будто
топор
навис над затылком.
За двести шагов...
за тридцать...
за двадцать...
Вбегает
юнкер:
«Драться глупо!»
Тринадцать визгов:
— Сдаваться!
Сдаваться! —
А в двери —
бушлаты,
шинели,
тулупы...

И в эту
тишину
раскатившийся всласть —
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».
И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном:
«Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным».
А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо:
— и это будет... —
пели:
— и это есть
наш последний... —
До рассвета
осталось
не больше аршина, —

руки
лучей
с востока взмóлены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Конечно...
в Смольный».
Умолк пулемет.
Угодил толкóв.
Умолкнул
пуль
звенящий улей.
Горели,
как звезды,
грани штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь
ветрáми.
Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

8

Холод большой.
Зима здоровá.

Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В *наши* **вагоны,**
на *нашем* **пути,**
наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два, —
но *мы* **—**
уйдем поздно.
Нашим **товарищам**
наши **дрова**
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.
Но *мы* **работаем,**
будто *мы*
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
все стерпя,

чтоб жизнь,
колёса дней торопя,
бежала
в железном марше
в *наших* вагонах
по *нашим* степям,
в города
промерзшие
наши.
«Дяденька,
что вы делаете тут,
столько
больших дядéй?»
Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.

14

Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто нáвек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь.
Я
дни беру
из ряда дней,

что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы-
водники —
не очень
сытенькие,
не очень
голодненькие.
Если
я
чего написал,
если
чего
сказал, —
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала

голода
опухоль.
Врач наболтал —
чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости,
две морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфект да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.
Мокрые,
тощие
под мышкой
дровинки,
чуть
потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.

Глазки —
щелки.
Зелень
и ласки
Вы́ходили глазки.
Больше
блюдца,
смотрят
революцию.
Мне
легше, чем всем, —
я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусок
конский.
Скрип —
дверь,
плача.
Сестра
младшая.
— Здравствуй, Володя!
— Здравствуй, Оля!
— Завтра новогодие —
нет ли
соли? —
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.
Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,

бредет
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не ва́лится —
примерзла
к пальцам.
За стенкой
шарк:
«Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена».
Окно, —
с него
идут
снега,
мягка
снегов
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.

Прилип
к скале
лесов
скелет.
И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи
к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,

из нищей
нашей
земли
кричу:

Я
землю
эту
люблю.

Можно
забыть,
где и когда

пузы растил
и зобы,

но землю,
с которой
вдвоем голодал, —

нельзя
никогда
забыть!

17

Хвалить
не заставят
ни долг,
ни стих

всего,
что делаем мы.

Я
пол-отечества мог бы
снести,

а пол —
отстроить, умыв.

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая —
на сажень вижу,
из-под нее
коммуны
дома
прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам,
с унылым
пудом сенцá,


КИНО
КНИГИ
КНИГИ

и поворачиваются
к тракторам
крестьян
заскорузлые сердца.
И планы,
что раньше
на станциях лбов
задерживал
нищенства тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.
И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!

18

На девять
сюда
октябрей и маёв,
под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.

Сюда,
под траур
и плеск чернофлажий,
пока
убитого
кровь горяча,
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
кричать
и рычать.
Я
здесь
бывал
в барабанах стучащих
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —
просто
один.
Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхие шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,
притворствуют
церкви,
монашьи шельмы.
Ночь —
и на головы нам
луна.

Она
идет
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.
Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голову,
и вновь
голова-лунь
уносится
с камня
голого.
Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.
И лунным
пламенем
озарена мне
площадь
в сиянье,
в яви
в денной...
Стена —
и женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лег под стеной.

Облил
булыжники
лунный никель,

штыки
от луны
и тверже
и злей,

и,
как нагроможденные книги, —
его
мавзолей.
Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка́, —

души́
не смущу
мертвизной, —
он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,

живой
человечьей весной.
Но могилы
не пускают, —
и меня
останавливают имена.
Читаю угрюмо:
«товарищ Красин».
И вижу —
Париж
и из окон До́рио...

И Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась, —
и кровью
газета
намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое
такой,
с каким
портретами сжи́лись, —
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».

Кто костьми,
кто пеплом
стенам под стопу
улеглись...
А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отрава.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуну
из света и стали

республики
вашей
сегодняшний житель? —
Тише, товарищи, спите...
Ваша
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.
И снова
шорох
в пепельной вазе,
лепечут
венки
языками лент:
— А в ихних
черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи? —
Нет!
В мире
насилья и денег,
тюрем
и петель витья —
ваши
великие тени
ходят,
будя
и ведя.
— А вас
не тянет
всевластная тина?

Чиновность
в мозгах
паутину
не сви́ла?
Скажите —
цела?
Скажите —
едина?
Готова ли
к бою
партийная сила? —
Спите,
товарищи, тише...
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки ощетинивши,
с первым
приказом:
«Вперед!»

1927

Казань

Стара,
 коса
стоит
 Казань.
Шумит
 бурун:
«Шурум...
 бурум...»
По-родному
 тараторя,
снегом
 лужи
 намарав,
у подворья
 в коридоре
люди
 смотрят номера.
Кашляя
 в рукава,
входит
 робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.

Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски».
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
двери
встретил третий.
«Марш
ваш —
наш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь.
Марш
вашинский
так по-чувашски...»

Как будто
годы
взял за чуб я —
— Станьте
и не пылите-ка! —
рукою
своею собственной
щупаю
бестелое слово
«политика».
Народы,
жившие,
въямясь в нужду,
притершись
Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя
на штурм,
на камень,
на крепость культур.
Крива,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»

1928

Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру

Я пролетарий.
Объясняться лишне.
Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
дает жилищный,
мой,
рабочий,
кооператив.
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.
Все хорошо.
Но больше всего
мне
понравилось —
это:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетова́нная,

это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.
Вода в кране —
холодная крайне.
Кран
другой
не тронешь рукой.
Можешь
холодной
мыть хохол,
горячей —
пот пор.
На кране
одном
написано:
«Хол.»,
на кране другом —
«Гор.».
Придешь усталый,
вешаться хочется.
Ни щи не радуют,
ни чая клокотанье.
А чайкой поплещешься —
и мертвый расхохочется
от этого
плещущего щекотания.
Как будто
пришел
к социализму в гости,
от удовольствия —
захватывает дых.
Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,

мыло в руку
и...
бултых!
Сядешь
и моешься
долго, долго.
Словом,
сидишь,
пока охота.
Просто
в комнате
лето и Волга —
только что нету
рыб и пароходов.
Хоть грязь
на тебе
десятилетнего стажа,
с тебя
корою с дерева,
чуть не лыком,
сходит сажа,
смывается, стерва.
И уж распаришься,
разжаришься уж!
Тут —
вертай ручки:
и каплет
прохладный
дождик-душ
из дырчатой
железной тучки.
Ну ж и ласковость в этом душе!
Тебя
никакой
не возьмет упадок:

погладит волосы,
потреплет уши
и течет
по желобу
промежду лопаток.
Воду
стираешь
с мокрого тельца
полотенцем,
как зверь, мохнатым.
Чтобы суше пяткам —
пол
стелется,
извиняюсь за выражение,
пробковым матом.
Себя разглядевши
в зеркало вправленное,
в рубаху
в чистую —
влазь.
Влажу и думаю:
«Очень правильная
эта,
наша,
Советская власть».

Свердловск

28 января 1928 г.

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви

Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я
растранжирю.
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
эту красавицу взял
и сказал:
— правильно сказал
или неправильно? —
Я, товарищ, —
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц красивей,

я видал
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любы.
Я ж умен
и голосист,
заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью ранен —
еле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать, —
тридцать...
с хвостиком.
Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,

не в том,
что жгут ýгольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.
Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны
считая
своим
соперником.
Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.

Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней — до неба...
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом не́ был,
я бы
стал бы
звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят на́земь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полон
до крышки.



Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
с какой-то
грошовой столовой,
когда
докипело это,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —

человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте...

1928

Письмо Татьяне Яковлевой

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,

дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,
гром
ругнёй
в небесной драме, —
не гроза,
а это
просто
ревность
двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски, —
я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,

но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жёны,
слезы...
ну их! —
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста мильонам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих, —
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф

шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоем с Парижем.

1928

Разговор с товарищем Лениным

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...

Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется —
идти,
приветствовать,
рапортовать!
«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищь и о́голь,
ширится
добыча
угля и руды...
А рядом с этим,
конешно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.

Нету
им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы, —
ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных...
Мы их
всех,
конешно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и жнивьём,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!..»

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

1929

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка

К этому месту будет подвезено
в пятилетку 1 000 000 вагонов
строительных материалов.
Здесь будет гигант металлургии,
угольный гигант
и город в сотни тысяч людей.

Из разговора

По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,



сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Свела
промозглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода —
он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Здесь
взрывы закудахтают

в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи́.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно —
«город-сад».

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

1929

Во весь голос

Первое вступление в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем г....,
наших дней изучая потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш ученый,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.

Засадила садик мило,
дочка,
        дачка,
                водь
                        и гладь —
сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
                набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
                        мудреватые Кудрейки —
кто их, к черту, разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
                        т-эн-н...»
Неважная честь,
                        чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,
                где харкает туберкулез,
где б.... с хулиганом
                        да сифилис.
И мне
        агитпроп
                        в зубах навяз,
и мне бы
            строчить
                        романсы на вас —
доходней оно
                и прелестней.
Но я
      себя
            смирял,
                    становясь



на горло
собственной песне.
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко́
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
но он дойдет не так, —
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,

сработанный
еще рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,

поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
она врывалась в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,

как мы
когда-то
бегали от них.
Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плетется слава
в похоронном марше —
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши!
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как «проституция»,
«туберкулез»,
«блокада».
Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки

шершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай быстрей протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Декабрь 1929 — январь 1930

Слово о Маяковском[1]

В мировой поэзии XX века Маяковскому принадлежит особенная, можно сказать, исключительная роль. Маяковский первым из поэтов XX столетия отдал свой могучий талант революционному обновлению жизни, начатому Великим Октябрем. Уподобив поэзию Маяковского динамизму грандиозных межпланетных ракет, Пабло Неруда отметил, что под ее влиянием вся мировая поэзия «преобразилась, словно пережила настоящую бурю».

В социалистическую литературу поэт входит как революционный романтик, решительно отвергнувший мир капитализма, входит, глубоко уверенный в том, что на смену этому безумному, бесчеловечному миру уже идет мир подлинных хозяев планеты и вселенной.

«О, четырежды славься, благословенная!» — такими словами встретил Маяковский Великую Октябрьскую социалистическую революцию. С Октября 1917 года начинается новый этап в его творчестве, этап, обусловленный прежде всего изменением действительности. Резко меняется тональность стихов. Господствующий в дооктябрьском творчестве поэта пафос решительного отрицания враждебной человеку действительности, саркастическое, гротескное ее изображение (персонажи сатирических гимнов, образ Повелителя Всего), мрачные картины людского горя, страданий уступают место мажорному, одическому утверждению начавшихся в стране коренных перемен. «Ода революции», «Левый марш», «Мистерия-буфф», «Потрясающие факты» — эти первые образцы социалистического искусства Великого Октября захватывают своей искренностью, глубочайшей верой в прекрасное будущее, открывшееся перед человечеством. Маяковский, как и прежде, романтик, но теперь это романтизм утверждения и созидания нового мира. «Необычайнейшее», почти фантастическое в его произведениях тех лет вырастает из жизни, переплавляемой революцией. В вихревые дни великого исторического перелома, которые вскоре войдут в память человечества как начало новой исторической эры, Маяковский убежденно встает в ряды первых деятелей литературы и искусства, включившихся в гигантский процесс революционного обновления жизни. Он глубоко убежден, что революция и поэзия нужны друг другу, он верит в действенность слова. Но чтоб оно стало подлинно дейст-

[1] Статья дается в сокращении.

венным, все должно быть перестроено: лирика и эпос, поэзия и драматургия. Ведь никогда перед художником не стояла столь огромная задача — содействовать объединению миллионов людей на основе новых социальных и нравственных принципов, принципов взаимосвязи и взаимообогащения...

В этом искреннейшем желании непосредственно участвовать в революционном обновлении жизни и искусства во имя счастья миллионов — источник новаторства Маяковского.

С именем Маяковского прочно связано представление о поэте-новаторе. Таких смелых, радикальных изменений в поэзии не совершил ни один поэт XX века. А ведь этот век бредит новаторством. Никогда не говорилось о нем так много, никогда не было столько претендентов на славу первооткрывателя в искусстве. Но оказалось, что новаторство подчиняется общим закономерностям развития литературы и искусства.

Уже почти вековая «эпопея первооткрывательства» убеждает, что возникновение новых художественных форм — сложный процесс, в котором прихотливо пересекаются социальная атмосфера, мощь и характер таланта, литературные взаимодействия, традиции и т. д. Однако сопоставление опыта Маяковского и его современников приводит к мысли, что приживаются и оказывают влияние на дальнейшее развитие искусства прежде всего те открытия, которые отвечают потребностям времени, способствуют утверждению его прогрессивных тенденций.

Маяковский сделал самый смелый и решительный шаг, превратив поэзию в активную участницу митингов, демонстраций, диспутов. Поэзия вышла на площади, обратилась к колоннам демонстрантов. «Улицы — наши кисти. Площади — наши палитры» — эти метафоры относятся и к слову поэта.

На такие эксперименты превращения поэзии в оружие масс не отважился ни один апологет формального экспериментаторства. Но именно эти поиски средств безотказного воздействия поэтического слова на сознание, чувство, действия масс и составляют важную черту «творческой лаборатории» Маяковского. Поэт вспоминал о традициях трубадуров и менестрелей. Но и характер, и назначение, и масштабы совершенного им беспрецедентны.

Его слово действительно полководец человечьей силы. Его голос — голос эпохи.

Что это? Лирика? Публицистика?

У Маяковского есть и то и другое, так сказать, в «чистом виде». Но историческая заслуга поэта — создание лирики нового типа, в которой публицистика становится лирикой, а лирика звучит публицистически. Свой дерзкий опыт он, разумеется, совершал не на пустом месте. Сам поэт называл несколько близких ему поэтов: Некрасова, Пушкина. Однако гражданская лирика Маяковского — явление XX века. Это лирика личности, отвергнувшей «отчуждение» и погрузившейся в большой мир общественных, всенародных и всечеловеческих интересов и связей, забот и радостей.

Герой поэзии Маяковского при ее сосредоточенности на судьбе народа, судьбе миллионов — это и сам поэт, образ которого обретает эпичность. «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем» — таково «я» Маяковского в поэме «Хорошо!». Это «я» советского человека в наивысшем проявлении его убеждений и чувств. Лирический герой Маяковского вовсе не сконструирован, это он — гражданин нового мира, советский поэт. И эпос, и лирика Маяковского в этом смысле едины, держатся на мощной личности самого поэта. Поэтому его эпос лиричен.

Вся деятельность Маяковского второй половины 20-х годов несет в себе приметы благотворного влияния работы над ленинской темой. Ленин, его идеи, подвиг, его человеческий образ — критерий оценки всего совершающегося в Стране Советов.

Маяковский создал жанр лирического «разговора» (вспомним его «разговоры» с фининспектором, с солнцем и др.). «Разговору с товарищем Лениным» принадлежит особая роль. В этом стихотворении удивительно слилось общественное и интимное, рапорт республике и задушевная исповедь поэта. Это разговор с Лениным в себе самом.

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

Постоянное ощущение присутствия Ленина во всем, что делается в стране, побудило Маяковского выступить против

апологии делячества, «американизма», в защиту героя новой, социалистической формации. В стихотворении «Американцы удивляются» людьми, обладающими «строительным норовом», неукротимой энергией, уверенностью в своих силах и тем, чего поэт совершенно не нашел у американцев: широтой кругозора, ясным знанием прекрасной и человечной цели, — являются передовые советские рабочие, застрельщики социалистического строительства. Героическому труду и новым условиям жизни этих людей поэт посвятил немало стихотворных «рассказов», близких к популярному в те годы жанру очерка («Рассказ о Кузнецкстрое...», «Рассказ литейщика Ивана Козырева...» и др.). Маяковскому особенно дороги люди, жизнь которых — повседневный, будничный и тем не менее подлинный подвиг.

Таков Теодор Нетте. В стихотворении «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» героическое раскрывается не как проявление исключительных духовных качеств в исключительных обстоятельствах, а как своего рода норма поведения советского человека. Конкретный, единичный факт — гибель Нетте при защите советской дипломатической почты — включен в систему жизненных явлений и наиболее дорогих автору мыслей и чувств, подчеркивающих закономерность и бессмертие подвига. Идея бессмертия Нетте осмыслена как бессмертие народа, создающего в героической борьбе новую жизнь.

Романтическая мечта о подвиге, волновавшая Маяковского с самых первых его выступлений, но окрашивавшаяся порой в тона жертвенности, апостольства, с укреплением поэта на позициях ленинизма выступает как реальная черта эпохи социалистического созидания. Именно эту особенность эпохи поэт стремится запечатлеть в поэме «Хорошо!».

В поэме «Хорошо!» нашел особенно широкое применение принцип изображения советской действительности в диалектическом единстве героического и повседневного. Точнее — героического в повседневном, обыденном. «Я дни беру из ряда дней, что с тыщей дней в родне. Из серой полосы деньки...» Тыщи дней — это десять послеоктябрьских лет. И почти каждый «серенький день» достоин войти в историю.

«Хорошо!» — поэма о любви. О любви к родине, преображенной революцией. О преданности народу, ее совершившему. И о надежде, что история, которую отныне творят народ, ленинская партия, не будет больше безразлична к судьбе человека.

Как увековечить все это? Нужны новые поэтические формы. Потому-то решительно заявляет поэт:

Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».

У Маяковского события (факты) революции и послеоктябрьской истории страны, даже самые незначительные (подобно щепотке соли, подаренной поэтом сестре), высвечены мыслью, служат утверждению большой поэтической идеи. В поэме «Хорошо!» — это идея возникновения нового, дотоле неизвестного человечеству государства, ставшего для трудящихся подлинным отечеством. Оно еще очень молодо, отечество трудового народа. Об этом напоминают неназойливо вкрапленные в ткань поэмы ассоциации с юностью, молодостью (образ ребенка на субботнике, метафоры: земля молодости, страна-подросток, весна человечества).

Такой подход к фактам действительности имел принципиальное значение. Реализм поэмы «Хорошо!» — это реализм утверждения действительного мира, прекрасного и справедливого.

Упорно стремясь создать новый эпос, поэт ищет новые и новые возможности его слияния с лирикой. Причем лирика служит Маяковскому для широкого обобщения. Достаточно вспомнить знаменитые лирические концовки глав («Я много в теплых странах плутал», «И я, как весну человечества...» и т. д.). Лирика обогащает эпос мыслью и чувством.

Слияние лирики и эпоса нашло в поэме глубокое обоснование как результат слияния личности с народом, рождения новой индивидуальности, утверждающей свою сопричастность ко всему, что свершают массы. «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем». И это также один из неиссякаемых источников жизнеутверждения.

«Жизнь прекрасна и удивительна!» — таков лейтмотив послеоктябрьского творчества Маяковского. Но, любовно

подмечая в жизни страны ростки нового, прекрасного, поэт не устает напоминать и о том, что «дрянь пока что мало поредела», что еще «очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг». Поэтому такое большое значение поэт придавал сатире. Она существует у Маяковского на равных правах с лирикой и эпосом, то составляя особые циклы, то входя в структуру поэм; а его последние драматургические произведения носят преимущественно сатирический характер.

Маяковский — один из самых талантливых сатириков XX века. Он создал классические образцы сатиры нового типа, отрицающей и обличающей все, что мешало успехам социализма. При этом господствующий в его послеоктябрьском творчестве пафос утверждения достигается не дозировкой света и тени, а глубокой убежденностью: если художник сознает величие цели, стоящей перед страной, и беззаветно служит этой цели, его сатира должна носить воинствующий характер. Только в этом случае она может содействовать утверждению прекрасного. Маяковский издевался над «обличителями», которые, отважившись на сатирический выпад, спешили подсластить его («Обличитель, меньше крему, очень темы хороши. О хорошенькую тему зуб не жалко искрошить»). «Грозный смех» — так назвал он сборник своих сатирических произведений.

Понимание сути и назначения сатиры в обществе, строящем социализм, требовало не только большого таланта, но и развитого чувства гражданственности, государственного мышления. В борьбе за сатиру, за ее новую миссию Маяковский опирался на Ленина.

Отзыв Владимира Ильича о сатирическом фельетоне «Прозаседавшиеся» (1922) Маяковский воспринял прежде всего как поддержку политической направленности его поэзии. Признание Ленина: «...давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной» — для поэта означало: сатира может оказывать помощь в строительстве коммунизма.

Ленинский анализ бюрократизма, высмеянного Маяковским, углублял социальный смысл его сатирического фельетона, связывая бюрократию с обломовщиной. Вскоре в произведениях «Плюшкин», «Помпадур» поэт продолжит ленинскую аналогию.

Сатирические произведения Маяковского 20-х годов поражают своим тематическим разнообразием. Кажется, нет такого отрицательного явления, которое не попало бы под увеличительное стекло поэта-сатирика...

Политическая в своей основе сатира Маяковского проникает и в сферу быта, нравственности, эстетики. Прозаседавшиеся, помпадуры, сплетники, трусы, обыватели, приспособленцы из категории «служителей муз», освещенные прожектором ленинской политики (а именно на нее ориентировался поэт), превращаются из безобидных, порой даже по-своему милых («чуть-чуть еще, и он почти б был положительнейший тип»), в людей, опасных для строительства новой жизни, утверждения новых духовных ценностей. Чтобы привлечь к ним внимание, сатирик пользуется различными способами укрупнения и заострения образа, создает особую, необычную ситуацию, близкую к фантастике.

И нельзя не заметить, что в послеоктябрьской сатире Маяковского гораздо чаще и сильнее, чем прежде, звучит смех.

Человеческим величием, страстной убежденностью, благородством потрясает каждый стих, каждый образ последнего шедевра Маяковского, его разговора с потомками — «Во весь голос».

Поэт разговаривает с «потомками» через головы современников. Но не о конфликте с временем, а «о времени и о себе», о том, как он понимает время и искусство, этому времени необходимое.

«Во весь голос» — своеобразный смотр всего, что писалось когда-то им «на злобу дня» и что третировали эстеты. Все в этом разговоре масштабно. «О времени» здесь означает «об эпохе», «о себе» — о типе поэта.

Обобщая самые дорогие и заветные убеждения, добытые в самоотверженном труде и жестокой борьбе, поэт подводит итог трудному, героическому пути.

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Партийность в поэме-исповеди не только политический и эстетический принцип, это и нравственный принцип, опре-

деляющий главную черту поведения художника — бескорыстие, а значит, и подлинную свободу.

Мне
    и рубля
            не накопили строчки,
краснодеревщики
            не слали мебель на дом.
И кроме
        свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
            мне ничего не надо.

Эти признания выходят за рамки личной биографии поэта, приобретают глубокий принципиальный смысл. В них выражена уверенность в том, что борьба за очищение нравственной атмосферы от таких стимулов буржуазного мира, как корысть, карьера, жажда личной славы, создает условия для полного проявления самозабвенной любви к искусству и для расцвета искусства.

Так может ли поэзия, бескорыстно выполнявшая любую черную работу во имя счастья людей будущего, рассчитывать на признание потомков?

Стихи стоят
            свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
            и к бессмертной славе.

Не каждый стих выдержит проверку эпохой. Он сделал свое дело и может умереть «как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши». Но господствует в этих строках мысль о бессмертии созданного в трудах и бою, вера в разум и благодарность потомков.

Мы теперь знаем, что все сделанное им в искусстве — подвиг величайшего бескорыстия. И как бы ни была трагична личная судьба Маяковского, в истории всемирной литературы трудно указать пример такого удивительного соответствия между потребностями эпохи, ее характером и — личностью поэта, сущностью его таланта, как бы созданного историей для того времени, когда он жил и творил.

А. Метченко

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихи о советском паспорте (с. 5). *С двухспальным английским левою.* — Имеется в виду государственный герб Великобритании, на котором изображены лев и единорог, символы Англии и Шотландии. *Что это за географические новости?* — На протяжении XIX и начала XX вв. Польша не существовала как самостоятельное государство. *Дубликат* — второй экземпляр какого-либо документа, имеющий равную с ним силу.

Левый марш (с. 10). Стихотворение переведено на многие иностранные языки как яркий образец советской поэзии первых лет революции. Написано для выступления 17 декабря 1918 г. в Петрограде в Матросском театре, чем и объясняется подзаголовок «Матросам». *Леевой* — творительный падеж от «леева» (неологизм от слова «лить»); *стальная леева* — поток пуль, снарядов.

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (с. 12). Летом 1920 г. Маяковский жил в дачной местности Пушкино под Москвой. *Сиди, рисуй плакаты!* — В то время Маяковский вел большую работу в **РОСТА** (Российское телеграфное агентство) над текстами и рисунками для агитплакатов («Окна **РОСТА**»). *Ясь* — неологизм от слова «ясность». *Сонница* — неологизм от слова «сон».

О дряни (с. 16). *Тариф* — здесь: ставка, зарплата. *Галифища* — от «галифе», брюк особого покроя, широких в бедрах и обтянутых у колен. *Реввоенсовет* — коллегиальный орган высшей военной власти в СССР в 1918—1934 гг.

Прозаседавшиеся (с. 19). Стихотворение привлекло к себе внимание В. И. Ленина. В докладе «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании

коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 г. Ленин сказал: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 13). *Кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет* — сокращенное название одного учреждения: главного политикопросветительного комитета Наркомпроса РСФСР, где Маяковский выпускал агитационные плакаты (продолжение «Окон РОСТА»). *Со времени она* — то есть с незапамятных времен (церковнославянское выражение «во время она»). *Объединение Тео и Гукона* — нарочитая нелепость: *Тео* — театральный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе, *Гукон* — главное управление коннозаводства при Народном комиссариате земледелия.

Юбилейное (с. 22). Написано в связи с 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина. Юбилей широко отмечался. *Тревожусь я о нем, в щенка смирённом львенке...* — то есть о своем сердце. *Навуходоносором библейцем* — упоминаемый в Библии вавилонский царь Навуходоносор II, правивший в 605—562 гг. до н. э., когда Вавилония достигла экономического и культурного расцвета. Согласно библейскому сказанию, за грехи был лишен дара слова и обращен в животное (отсюда у Маяковского «блеется»). *«Коопсах»* — кооперация сахарной промышленности. Вывеска магазина «Коопсах» на бывшей Страстной площади (ныне площадь Пушкина) изображала сахарную голову на синем фоне с расходящимися в разные стороны оранжевыми лучами. *Красные и белые звезды.* — Имеются в виду две наиболее известные пароходные линии, связывающие Европу с Америкой: пароходы «Красной звезды» курсировали между Антверпеном (Бельгия) и Нью-Йорком; пароходы «Белой звезды» — между Ливерпулем (Англия) и Нью-Йорком. *«Утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я»* — из восьмой главы «Евгения Онегина» Пушкина (строфа XXXII). *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — русский поэт, в стихах которого получили отражение настроения скорби и обреченности. *Дорогойченко* Алексей Яковлевич (1894—1947) — поэт, стихи которого отличаются патетиче-

ской декларативностью. *Герасимов* Михаил Прокофьевич (1889—1939) — поэт, один из основателей литературной группы «Кузница», воспевал труд в абстрактных, гиперболических образах. *Кириллов* Владимир Тимофеевич (1890—1943) — поэт группы «Кузница», его стихам свойственны основные черты поэзии Пролеткульта: отрицание классического наследия, гиперболизм, абстрактность, символика и риторика. *Родов* Семен Абрамович (1893—1968) — поэт и литературный критик, выражал сектантские, вульгаризаторские тенденции журнала «На посту». *Однаробразный* — иронический неологизм Маяковского, составленный из слов «однообразный» и «наробраз» (отдел народного образования), что подчеркивает ученическую слабость этой поэзии. *Мужиковствующих свора.* — Маяковский имеет в виду так называемых «крестьянских поэтов» (Н. А. Клюев, С. А. Клычков, П. В. Орешин и др.), воспевавших патриархальную отсталость русской деревни. *Безыменский* Александр Ильич (1889—1973) — в те годы молодой комсомольский поэт. *Асеев* Николай Николаевич (1889—1963) — русский советский поэт, друг Маяковского. *ЛЕФ* («Левый фронт») — журнал, издававшийся в Москве под редакцией Маяковского в 1923—1925 гг. *Я дал бы вам жиркость и сукна...* — то есть поручил бы работу над текстами рекламы трестов «Жиркость» и «Моссукно». *Гумских* — от ГУМ (государственный универсальный магазин в Москве). *Шкода* — негодяй, мерзавец. *Чем вы занимались до 17-го года?* — традиционный вопрос в анкетах тех лет. *Спиритизм* — суеверное представление о загробной жизни душ умерших и возможности общения с ними. *«Невольник чести»* — слова из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта». *На Тверском бульваре...* —Памятник Пушкину работы скульптора Опекушина был открыт в 1880 г. на Тверском бульваре, а в 1949 г. перенесен на площадь Пушкина.

Владикавказ — Тифлис (с. 33). Стихотворение связано с поездкой Маяковского летом 1924 г. по Крыму и Кавказу: Севастополь — Ялта — Новороссийск — Владикавказ — Тифлис. *Я вспомнил, что я грузин...* — Маяковский родился и провел детские годы в Грузии. *Архалух* — легкий кафтан, собранный в талии. *Карабах* — верховая лошадь, выведенная в Нагорном Карабахе. *Ройльс* («роллс-ройс») — модная в 20-е годы марка автомобиля. *Муша* (груз.) — рабочий, грузчик. *Ираклии, Нины, Давиды* — имена царей и цариц средневековой Грузии. *Золотопогонник* — презрительное название офицера царской армии; Маяковский имеет в виду военные действия царских войск против местных гор-

ских племен. *Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом* — слова песни грузинского писателя Шалвы Дадиани (1874—1959). *Арсен* — Арсен Джорджиашвили (1881—1906), грузинский революционер, убивший в январе 1906 г. царского карателя генерала Грязнова и казненный по приговору военно-полевого суда. *Алиханов*-Аварский М. (1846—1907) — генерал-губернатор Кутаисской губернии в 1905 г.; убит в июле 1907 г. в Александрополе (Ленинакан). В автобиографии «Я сам» Маяковский называет его «усмирителем Грузии». *Какие-то люди, мутней, чем Кура...* — Имеются в виду грузинские меньшевики, которые в годы гражданской войны вступили в сговор с французскими и английскими империалистами. В феврале 1921 г. меньшевистское правительство Грузии было свергнуто и провозглашена Грузинская Советская Социалистическая Республика. *Мадчари* (груз.) — неперебродившее молодое вино. *Эдем* — по библейской легенде, земной рай. *Кинто* (груз.) — бродячий торговец. *Зурна* — восточный народный музыкальный инструмент, *Шаири* — форма классического грузинского стиха, которым написана поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.).

Бродвей (с. 40). *Бродвей* — одна из главных улиц Нью-Йорка, на которой расположены конторы крупных торговых фирм и финансовых учреждений, театры, отели, рестораны. *Чуингам* (англ.) — жевательная резинка. *«Мек мо́ней?»* — «Делаешь деньги?» — вместо привета (*прим.* Маяковского). *Собвей* — американское название метро. *Элевейтер* — надземная железная дорога на эстакаде. *Гудзон* — река, в устье которой расположен Нью-Йорк. *«Кофе Максве́л гуд ту ди ласт дроп»* — реклама кофе: «Кофе Максвел хорош до последней капли». *Гау ду ю ду!* — привет при встрече (*прим.* Маяковского).

Бруклинский мост (с. 44). Построенный в 1867—1884 гг. Бруклинский мост через Ист-Ривер соединяет два района Нью-Йорка: Манхаттан и Бруклин. В те годы это был один из крупнейших подвесных мостов мира (длина около 2 км). *Разъюнайтед стетс оф Америка* — комическое усиление слов «Юнайтед стейтс оф Америка» (Соединенные Штаты Америки). *Скит* — жилище монаха-отшельника, уединенная обитель. *Мерещь* — неологизм от глагола «мерещиться»; вечерний сумрак, придающий предметам фантастические очертания. *Пустив по ветру индейские перья.* — Имеет в виду истребление европейскими колонизаторами индейских племен Северной Америки, остатки которых были загнаны в резервации США и Канады.

Канцелярские привычки (с. 49). *Рыков* Алексей Иванович (1881—1938) — в те годы председатель Совета Народных Комиссаров СССР.

Товарищу Нетте — пароходу и человеку (с. 53). *Нетте* Теодор Иванович (1896—1926) — член партии большевиков с 1914 г., участник гражданской войны, затем политработник. Погиб 5 февраля 1926 г. в поезде, следовавшем через латвийскую территорию в Берлин, куда он вез дипломатическую почту. *Якобсон* Роман Осипович (р. 1896) — языковед, один из основоположников структурализма. В составе постпредства РСФСР в 1921 г. выехал в Прагу и не вернулся.

Нашему юношеству (с. 57). *Позумент* — шитая золотом или серебром тесьма; здесь: украшение шапки кубанских казаков. *Головы сахара высят хребты.* — Сахар раньше продавался «головами» в виде конуса, обернутого снизу в синюю бумагу; снеговые вершины похожи на «головы» сахара. *Нэ чую* (укр.) — не слышу. *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт, предшественник декадентства. *Маларме* (Малларме) Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист. *Бульвардье* — завсегдатай бульваров, праздношатающийся. *Шоры* — боковые наглазники для лошадей, не позволяющие глядеть по сторонам; в переносном смысле — ограниченность. *Сечевик* — казак Запорожской Сечи, военной организации украинского казачества за Днепровскими порогами в XVI—XVIII вв.

Хорошо! *Октябрьская поэма (Главы из поэмы)* (с. 64). Поэма написана к первому большому юбилею в жизни Советского государства — десятилетию Октябрьской революции. Предлагаем вниманию читателя 6, 8, 12, 14 и 18 главы поэмы, в которых ярко выражена новаторская сущность поэм Маяковского, названных «лирическим эпосом». Эпическое содержание здесь передано средствами лирики. Поэт ведет взволнованный разговор «о времени и о себе». *Боли волжской...* — голода, постигшего Поволжье в 1921—1922 гг. *Оля* — сестра поэта Ольга Владимировна Маяковская (1891—1949). *Бредет трехверстной Преснею* — улица в Москве (ныне Красная Пресня), где жили мать и сестры Маяковского. *Горячкой тифозной.* — В годы гражданской войны в Москве была эпидемия тифа. *Пока убитого кровь горяча.* — Имеются в виду демонстрации протеста в связи с предательским убийством за границей советских представителей В. В. Воровского (1923) и П. Л. Войкова (1927), похороненных на Красной площади. *Я здесь бывал в барабанах стучащих и в мертвом холоде слез и льдин...* — то есть во время майских и октябрьских парадов и в дни похорон

В. И. Ленина. *Место лобное* — круглый каменный помост на Красной площади в Москве, построенный в 1534 г. для объявления важнейших царских указов и для торжественных церемоний; широко распространено ошибочное представление, будто на Лобном месте происходили казни. *Стена и женщина со знаменем* — барельеф работы скульптора С. Т. Коненкова, был установлен на Кремлевской стене над братскими могилами рабочих и красногвардейцев, погибших в уличных боях в октябре—ноябре 1917 г. В 1949 г. этот барельеф перенесен в Музей Революции в Москве. *Красин* Леонид Борисович (1870—1926) — советский государственный и партийный деятель, первый советский посол во Франции. Маяковский вспоминает восторженную встречу Красина с трудящимися Парижа, которую он наблюдал 4 декабря 1924 г. *Дорио Жак* — в то время один из руководителей Французской компартии, впоследствии изменил делу рабочего класса. *Войков* Петр Лазаревич (1888—1927) — полпред СССР в Польше. Убит в Варшаве 7 июня 1927 г. белогвардейским террористом. Маяковский виделся с ним во время пребывания в Варшаве в мае 1927 г. *И планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенства тормоз* — поэтическая инверсия, то есть развитие творческого разума (лбов) задерживалось нищенством и отсталостью.

Казань (с. 92). Стихотворение написано по впечатлениям поездки в Казань (1928 г.) 23 января к Маяковскому пришли молодые поэты. Устроитель вечеров поэта П. И. Лавут вспоминает: «В номер старинного «Казанского подворья» началось настоящее паломничество. Журналистов и студентов сменили местные и приезжие поэты. Совсем молодой парень вышел и после долгих робких предисловий прочел «Левый марш» по-чувашски. У Маяковского в руках чья-то тетрадь стихов. Снова раздается «Левый марш», на этот раз по-татарски. Маяковский одинаково приветлив со всеми, выслушивает всех, отвечает всем. В третий раз «Левый марш» уже по-марийски. А кругом все время — новые и новые люди, все хотят видеть Маяковского, все хотят узнать его мнение о своих стихах, о литературе, о быте, о газетной работе». *«Шурум... бурум...»* — возглас старьевщиков, ходивших по дворам; этим занятием промышляли в основном казанские татары.

Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру (с. 95). Написано в результате пребывания Маяковского в Свердловске в январе 1928 г. Один из журналистов вспоминает, что «рабочие Верхне-Исетского завода переезжали из маленьких екатеринбургских хибарок в новые,

просторные и светлые квартиры. Маяковский не прошел мимо этого простого и будничного факта. Он побывал в квартирах рабочих, беседовал с ними».

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви (с. 99). *Костров* Тарас (псевдоним Александра Сергеевича Мартыновского; 1901—1930) — редактор газеты «Комсомольская правда». В 1928 г. был также редактором журнала «Молодая гвардия», где впервые напечатано это стихотворение.

Письмо Татьяне Яковлевой (с. 106). *Яковлева* Татьяна Алексеевна (р. 1906 г.). — Маяковский познакомился с ней осенью 1928 г. в Париже, куда она выехала в 1925 г. по вызову своего родственника художника А. Е. Яковлева, и около года с ней переписывался.

Разговор с товарищем Лениным (с. 140). Написано к пятой годовщине со дня смерти В. И. Ленина. *Нищь и оголь* — собирательные существительные от слов «нищий», «голый».

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка (с. 114). Партийный работник Сибири Ульян Петрович *Хренов* рассказал Маяковскому о строительстве Кузнецкого металлургического комбината, одного из крупнейших предприятий черной металлургии СССР, детища первой пятилетки. *Сливеют* — неологизм: от холода становятся синими, как слива.

Во весь голос. Первое вступление в поэму (с. 119). За этим произведением, написанным в декабре 1929 г.— январе 1930 г. и задуманным как «Первое вступление в поэму о пятилетке», в дальнейшем закрепилось жанровое определение — поэма. Поэмой назвал его и сам Маяковский в своем выступлении 25 марта 1930 г. в Доме комсомола Красной Пресни. Конкретным поводом к написанию поэмы явилась отчетная выставка «20 лет работы Маяковского», открытие которой предполагалось в декабре 1929 г.; открылась в Москве 1 февраля 1930 г., где и состоялось первое чтение. Выступая на вечере, посвященном двадцатилетию его деятельности, Маяковский сказал: «Последняя из написанных вещей о выставке, так как это целиком определяет то, что я делаю и для чего я работаю. Очень часто в последнее время вот те, кто раздражен моей литературно-публицистической работой, говорят, что я стихи просто писать разучился и что потомки меня за это взгреют... Я человек решительный, я хочу сам поговорить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать мои критики в будущем. Поэтому я обращаюсь непосредственно к потомкам в своей поэме, которая называется «Во весь голос». Соотнесение поэмы с экспо-

зицией выставки дает представление о том, как рождались художественные образы, о движении поэтической мысли, развивающейся от конкретных фактов к широким художественным обобщениям.

Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.

Эта развернутая метафора, определившая образную структуру центральной части поэмы, имеет свою конкретную зрительную подоснову, восходя к выставке. Выставка «20 лет работы Маяковского» действительно была своего рода парадом, смотром войск, представленных поэтом как «грозное оружие». Использовав условный художественный прием обращения в будущее, Маяковский выступает против своих литературных противников, против эстетства и мелкотемья в поэзии, отстаивает принципы партийности в искусстве. Этим объясняется полемическая резкость оценок явлений современной ему литературной жизни. После смерти Маяковского поэма приобрела значение его поэтического завещания, «памятника». *Ассенизатор* — работник, занимающийся ассенизацией, оздоровлением почвы и гигиенических условий местности, удалением и обезвреживанием нечистот. *«Сама садик я садила, сама буду поливать»* — слова популярной в те годы песни-частушки. *Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки* — молодые поэты К. Н. Митрейкин (1904—1934) и А. А. Кудрейко (р. 1907 г.), близкие в то время к группировке «Литературный центр конструктивистов», которую Маяковский резко критиковал в ряде своих выступлений за эстетство и увлечение техницизмом. *«Таратина, тара-тина, т-эн-н...».* — Маяковский высмеивает формалистические ухищрения главы «Литературного центра конструктивистов» поэта Ильи Сельвинского (1899—1968), цитируя строки из стихотворения «Цыганский вальс на гитаре»:

И доносится толико стон'ы? гиттаоры:
Таратинна-таратинна-tan...

Агитпроп — отдел массовой агитации, пропаганды и партпросвещения, существовавший до 1930 г. при местных комитетах нашей партии. *Провитязь* — неологизм Маяковского, образованный от слова «провидец» и «витязь»; поэт утверждает, что значение его стихов не в поэтизации легендарного прошлого, а в отражении настоящего и борьбы за комму-

нистическое будущее. *Нумизмат* — знаток и собиратель древних монет и медалей. *Водопровод, сработанный еще рабами Рима.* — Имеются в виду водопроводные системы (акведуки) Рима и провинций Римской империи. Особенно известны акведуки Марция в Риме (140 г. до н. э.) и Клавдия близ Рима (38—52 гг. н. э.), являющиеся выдающимися архитектурными памятниками античности. *Мы диалектику учили не по Гегелю.* — Маяковский противопоставляет книжной учености современных ему толкователей культурного наследия прошлого, добытое в реальных битвах за социализм, знание основ классовой борьбы и свое «место поэта в рабочем строю». *Лета* — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве. *Шершавым языком плаката.* — Имеется в виду работа Маяковского над плакатами «Окон РОСТА», Главполитпросвета и др. *Це Ка Ка* (Центральная контрольная комиссия) — партийный орган, избиравшийся съездом ВКП(б), в наши дни — Комиссия партийного контроля.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

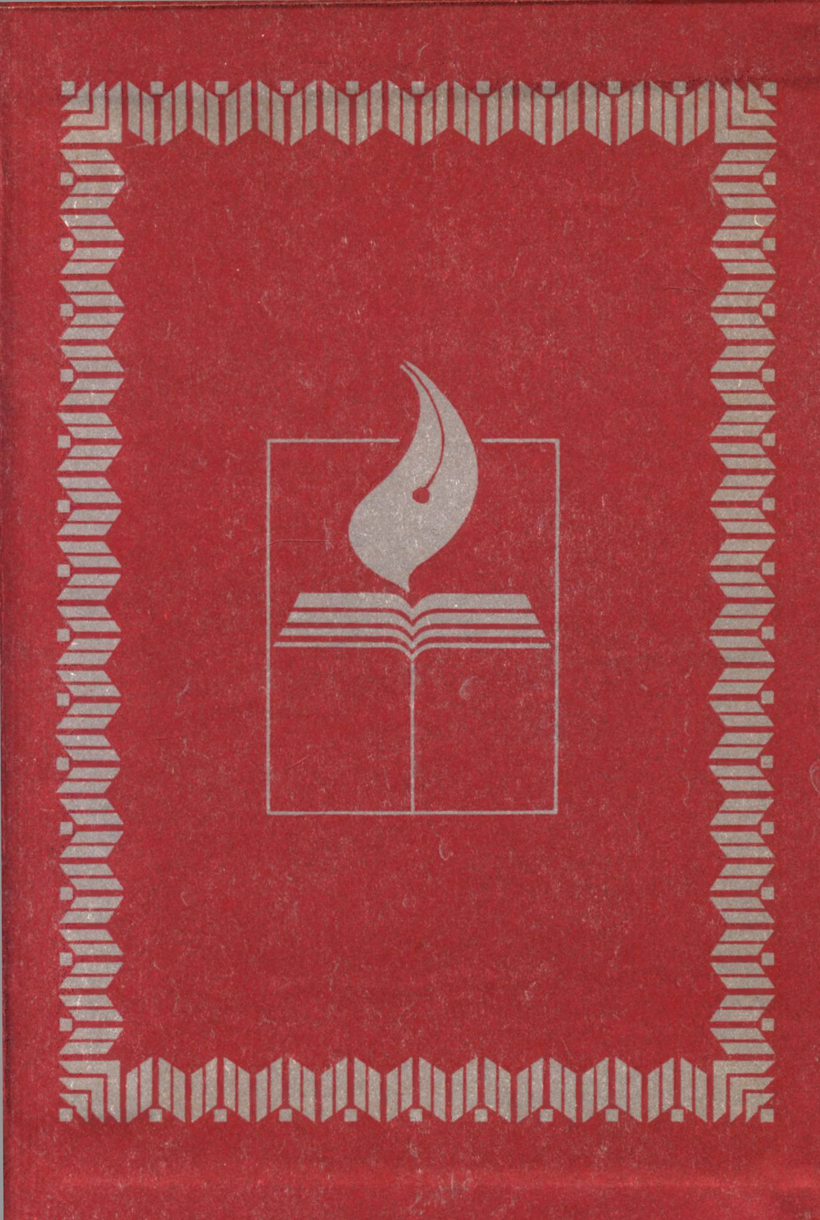
Маяковский Владимир Владимирович

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

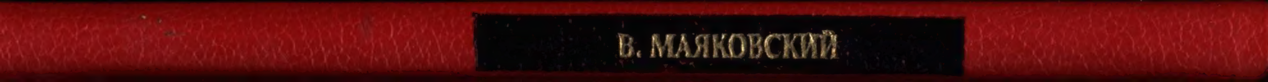
ИБ № 11234

Ответственный редактор *Н. М. Кожемякина.* Художественный редактор *Ю. Н. Стальская.* Технический редактор *М. В. Гагарина.* Корректор *Е. И. Щербакова.* Сдано в набор 28.11.88. Подписано к печати 20.04.89. Формат 70×100 1/32. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 12,03. Уч.-изд. л. 6,51. Тираж 100 000 экз. Заказ № 459. Цена 55 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.





55 к.


В. МАЯКОВСКИЙ